

К 85-летию народного писателя**Абиш КЕКИЛБАЕВ****ТУРКМЕНСКИЙ ПЛЕННИК***Отрывок из повести
«Баллада забытых лет»**Перевод Анатолия Кима***V**

Пришла золотисто-бурая, в палевых разводах, а кое-где и в ярких оборках листвы деревьев и кустов, осень полупустыни. За всё лето дождей таки не выпадало. Даже стойкие, цепкие к жизни колючки давно сгорели под нещадным солнцем. Выгорела, спеклась и начала трухляво осыпаться кошма на юртах, всюду запахло палёной шерстью. Тягучая, бесчувственно тусклая жизнь едва теплилась в ауле. Днём живой души не было видно на улице, все затаивались по домам, и только далеко пополудни, когда зной и сушь немного отпустили, люди начинали выползать из юрт. Женщины, по велению своих мужей, принимались расстилать в тени своих жилищ ковры, устраивать постели. Выходили и укладывались отдохнуть на прохладе мужчины. Вскоре, ближе к вечеру, они окликали своих малышей и посылали кого-нибудь из них в дом, чтобы тот вынес отцовскую папаху. Известное дело, что туркмен ходит в домашности, натянув на бритую макушку круглую тюбетейку, а на люди появляется в неизменной лохматой поярковой папахе. Её он надевает поверх тюбетейки. Нахлобучит туркмен папаху на голову, усядется на низком солнце, в приближении часа вечерней молитвы, и залюбуется своей длинной тенью, темнеющей на земле. С папахой у туркменского джигита много забот и возни. Налюбовавшись своей причудливой большеголовой тенью, он снимает с себя свою огромную шапку и принимается любовно поглаживать её и выискивать в мехе, внимательно просматривая его, не завелась ли там моль или другая какая-нибудь нечисть. Около каждой юрты обязательно торчит в земле кол, на который и набрасывается папаху, после чего хозяин начинает выбивать её гибким прутиком. Да настолько усердно и неистово, что глаза у него загораются азартным огнём. После такой порки, словно утратив все силы, джигит вновь поглаживает, расчёсывает пятернёй мех на папаху. И оставляет её проветриваться на колу. На закате он отправляет мальчишку за конями, и когда их пригонят, хозяин ловит свою лошадь и начинает её седлать. Горяч и неуёмен скакун, стройный, узкогрудый ахалтекинец-аргамак, так и балует, крутится на месте, приплясывает на своих стройных ногах. Непросто его оседлать. И вот когда конь готов, джигит направляется к колу, на котором висит его папаху. Но и тут он не сразу надевает её, а вначале приказывает мальчишке принести воды в кесушке, осторожно спрыскивает изо рта мех на шапке, потом взденет её на большой палец руки и крутанёт не раз. Лишь после всего этого он бережно, тщательно устраивает папаху на своей голове.

Вот он ловко взлетает в седло, едва коснувшись стремени, аргамак под ним хочет тут же пулей устремиться вперёд, но хозяин сдерживает коня и, кру-



жась на месте, горделиво посматривает вокруг из-под своей огромной, лохматой шапки. И уже потом с места вскачь, бешеным галопом, пускается в степь. А вот вслед за ним и из других дворов вылетают верховые, и все они скачут в разные концы, по им одним известным делам. Пыль прямой дорожкой вытягивается вслед за каждым, и представляется, что от высокого угора, на котором расположен аул, во все стороны тянутся нити пушистой серой пряжи.

Да, засушливое нынче выдалось лето, корма вблизи аула вскоре не стало, и верблюды уходят за ним так далеко, что их теряют из виду даже ходящие за ними манкурты, в чьих головах, сдавленных колодой каменно-твёрдой высохшей кожи, уже нет никакого человеческого соображения. Отставшие от взрослых верблюдов верблюжата жалобно ревут и мечутся по всей степи, зовут матерей.

И вот солнце садится, сразу же наступают густые предночные сумерки. В небе сменяется светило, выходит луна. Ночь будто отступает, залитая молочным лунным светом, и теперь можно увидеть, что вблизи аула мгла наполнена большим движением. Тут и стада возвращающихся верблюдов, колыхающих высокими горбами, и косяки лошадей. Слышны рёв и визгливое ржание гонимого скота, гортанные крики хозяев. И вот на дороге обозначается облако пыли, в которой промелькивают громады верблюжьих тел или всадник на вороном аргамаче, мокрые бока и круп которого вдруг сверкнут синеватым глянецом. Кажется, что со всех сторон на аул надвигаются полчища каких-то призрачных ночных существ.

Вот и прошёл день жизни в ауле, скоро всё угомонится и затихнет. И только на самом краю в убогой лачуге с дырявой крышей томится, мечется одинокий пленник, закованный в ножные и ручные кандалы. Уже сорок дней и ночей он в заточении, никто к нему не заглядывает, не нарушает его томительного одиночества, и было у него достаточно времени, чтобы сквозь дыры в стене лачуги понаблюдать за жизнью аула. Пленника охраняли вначале двое караульных, потом один. Сегодня, вот, опять двоих приставили. Пленник знал, что в ауле траур по убитым в последнем набеге воинам.

У себя, в казахском ауле, он всегда наблюдал, что в траурный день одни приезжали, другие уезжали, и на дню поднимался плач по несколько раз. А здесь целыми днями стоит мрачная, зловещая тишина. Плач звучал только в первый день, когда поспешно хоронили Даулета. По здешним обычаям убитого надо предать земле в первый же день, как только доставят тело домой. И надо это сделать до захода солнца. Если же не успевают, то при свете костров и обязательно до полуночи. Оставить же тело до утра – большой грех. И на кладбище, и с кладбища туркмены спешили чуть ли не бегом. Полагалась ночная тризна, всех хоронивших обносили блюдами с варёным мясом. Но в ту ночь похорон, было похоже, никто не притронулся к траурному угощению, и все быстро разъехались ещё до утра. Мясо досталось собакам. С того дня аул и погрузился в зловещую тишину, словно в долгий мрачный сон.

И прошло сорок дней. Рядом с большой тёмной юртой появился на привязи серо-пегий жеребец, у которого хвост был обкорнан по самую репицу. Его пускали в табун, чтобы отъелся до этого дня. Теперь привели назад. К нему подходили туркмены, о чём-то толковали между собой, покачивая огромными папахами. Затем отвязали его, потащили в поводу.

- Куда повели куцехвостого? – спросил пленник у одного из караульных.
- Резать будут. Сегодня сороковины Даулета.
- Вон оно что...

Знать, недаром с утра было столько приезжих в обычно безлюдном ауле. И у большой тёмной юрты, где никто за прошедшие дни не появлялся, сегодня

было привязано много лошадей под сёдлами. Самого хозяина юрты пленник не видел ни разу за все сорок дней. Было похоже, что воитель не покидал своего дома. Приезжие, в основном седобородые аксакалы, недолго засиживались в доме Жонеута. Зайдя в юрту, вскоре выходили из неё и поспешно отвязывали своих коней.

По ночам, когда аул погружался в сон, томимые скукой караульщики вступали в разговор с пленником и о многом ему рассказывали. Так пленник узнал, что за все сорок дней Жонеут ни с кем не заговаривал. А поначалу он даже как будто не понимал, что сын погиб и уже похоронен, войско вернулось разбитым, приказал оставить дозорного на кургане ещё на неделю. Самые почтенные старцы из разных туркменских родов приезжали и пытались утешить его и вразумить. Но Жонеут по-прежнему молчал и сидел на своём месте, словно окаменевший. Только теребил всю побелевшую бороду. А вчера зашли к нему старики во главе с Анадурды и напомнили, что наступают сороковины по смерти Даулета. Так пленник узнал, сколько дней точно он находится под стражей в темнице. Значит, ровно сорок два дня назад он отправился на охоту за архарами, и вскоре попал в плен. Охота всегда отвлекала его от шумной суеты праздников и застолий, в которых ему приходилось участвовать. Пленник был знаменитым домбристом, кюйши, и его искусство явилось причиной того, что он постоянно пребывал на людях. Однако с детства он любил одиночество, уединение и неторопливые размышления о жизни. Большая же слава мешала жить как хотелось, его постоянно втягивали на богатые праздники и во всякие музыкальные состязания, на которых не было ему равных. И всё же кюйши больше нравилось уединение, нежели шумная жизнь на виду у всех. Не мог он переносить многое из того, что видел вокруг себя. Жить аульным миром всегда беспокоило, и причиной тут не только близкое присутствие враждебных племён, не только постоянная угроза вражеского нападения. В самом же ауле, где вдруг затевается шумный той по какой-нибудь радостной причине и где на другой же день поднимается плач и вой по очередному горестному поводу, любителю тишины нет покоя. Ведь там что бывает обычно? Если двое сопливых сорванцов подерутся, не поделив игральных косточек, то вот уже их отцы с налитыми кровью глазами набрасываются с кинжалами друг на друга. Бьются-то за сущую ерунду – и с каким видом, о Аллах! С безумными, перекошенными, искажёнными злобой лицами, с налитыми кровью глазами, с зубовным скрежетом. Уже позабыта сама причина, из-за которой эти двое вступили в бесславный поединок. Изрезанные, исколотые, с зияющими ранами в теле, оба падут на землю, оба пойдут в землю, где им самое место. Там оба и сгниют.

В степи, на местах битв и поединков, о, сколько валяется костей, перемешанных со ржавыми обломками копий и кинжалов, с конским навозом, с шакальим дерьмом! И всё это со временем превратится в единое брение земное, название которому – прах. Где один батыр, где другой? Кто из них принял славную смерть, а кто постыдную? Их бесстрашные, пылкие сердца – где они? Пожрали их черви и муравьи на склоне какого-нибудь безымянного кургана. Останутся у каждого их маленькие сыновья-сироты, и что же? Будут расти, мужать, исполненные лютой ненависти друг к другу – ещё ни разу даже не встретившись на этом свете. Разве они не постараются всю жизнь мстить за гибель своих славных родителей? И, едва только отрастив усы, пойдут с приятелями своих сгинувших родителей в набег, чтобы мстить за смерть своих уже давно сгнивших в земле предков.

То же самое и у врагов, у вражьих детей, которые быстро подрастут и тоже пойдут дорогой мести – всё по той же древней проторённой дороге. И так будут жить люди на земле поколение за поколением. Из века в век. На землю по-

токамаи льётся человеческая кровь. Но земле ведь всё равно. Пусть сколько хочешь льётся кровь этих людишек. Земля всё впитает, всех примет – и дутых-раздутых от спеси и гордости, и худых, бедных, угрюмых горемык, всем хватит места под нею. Людишки могут считать свои победы, однако земли, их вечного прибежища, им не победить. Она терпеливо дожждётся срока и возьмёт своё. Тем, кому тесно жить на земле, всегда найдётся место под землёй. И отчего им неймётся? Суетятся, возятся, тревожат великих предков, взывают к их именам. Иной бедолага копошится, не может даже себя и семью прокормить трудом праведным, а всё суется туда же, о каком-то священном долге перед духами предков лопочет. Проявляя великое рвение исполнить долг перед мертвецами, сам вскоре оказывается мёртвым. Неужели им на самом деле столь уж тесно на этом свете? Неужели так и не успокоятся, пока не перебьют друг друга? В самое благодатное время года, когда в степи и на горах всё радуется, ликует, источает любовь – они покидают своих жён, детей, оставляют без присмотра годами нажитое добро, свой скот, бросают мирную пастушескую жизнь и отправляются в набег, чтобы в чужих краях грабить, насиловать, убивать. А потом, достигнув своего и натешившись вволю, с победным торжеством возвращаются назад. И после сидят по своим домам, тревожно прислушиваясь к каждому шороху, к каждому постуку копыт, ожидая ответного возмездия и яростного нападения врагов. И нет победителям – в войне грабежа и насилия, в войне хищников и кровопийц – никакого сна и покоя. И тем не менее, когда долго не случается очередного военного бесчинства, степной боевик начинает зевать от скуки и развлечения ради принимается стравливать хоть козла с собакой. Но если руки чешутся и скука никак не уймётся в душе, будет боевик приставать по какому-нибудь вздорному поводу к соседу, к ближним, дальним – ко всем себе подобным, и вот уже вызваны им на свет, на потеху шайтану, мелкие ссоры, драки, склоки, тяжбы, воровство и убийство. Так что же ты, степняк, никак не угомонишься? Или только могила успокоит, наконец? Тебя быстро закопают в землю, и тогда те, что вчера натравливали на мнимых врагов, примутся вопить, колотить себя кулаками по вискам, рвать на себе волосы – словом, оплакивать покойника, как это и положено по обычаю.

Но пусть рыдают лицемеры, пусть льют неискренние слёзы. Пусть чёрная кровь хлынет наконец из их глаз! Того, кто сегодня плачет по мертвецу, а завтра сам пойдёт убивать, непременно когда-нибудь тоже убьют. Воистину мёртвые хоронят мёртвых! Человек что зверь. Пока ему не больно, он не думает о страданиях других. Лишь собственное горе и страдание дают ему возможность прозреть. Лишь проливая слезы, он начинает понимать печальную суть жизни.

Вот о чём думал пленник, сидя в заточении. А о чём думаем мы, сидя в заточении своей жизни? Или у нас другие мысли, совсем не такие, как у пленника? Он томится, выглядывая сквозь дыры в стене заброшенной лачуги. Сегодня он увидел, как привязанного к столбу серо-пегого жеребца увели на заклание, как пришёл в движение вымерший на все сорок дней аул. Готовятся к тризне по убитому воину.

Сам пленник чувствовал, что силы покидают его, каменеет и тяжким бременем давит сердце в груди, кружится голова, и сон бежит его глаз. От горестных мыслей на душе становится пусто и черно, стучит в висках кровь, умирает надежда на всякое спасение.

Лицо у пленника бледное, измождённое, руки в кандалах трясутся, его то знобит, то всего заливают потом. Он заболел, видимо, или сорок дней тяжкого заточения довели его до смертной черты. Он чувствовал свою смерть, – вот, она подошла уже близко. И, даже не понимая сам того, чего он ищет, о чём больше всего тоскует, пленник время от времени принимался шарить обеими рука-

ми, скованными железом, то перед собою, то справа, то слева. Потом пленник приходил в себя и осознавал, что ищет свою домбру, подругу печальных лет, которой привык открывать все тайные горести своей души. Кажется, он слабым голосом о чём-то спросил у стражников, но те отошли далеко в сторону и, глядя на юрту Жонеута, считали количество привязанных к столбам лошадей. И пленник безнадежно умолк, присел на корточки, уронил голову на грудь и закрыл глаза. Очнулся он от того, что кто-то стал дёргать его за рукав чапана. Подняв голову, пленник увидел перед собой знакомого туркменского старика, Анадурды, гадальщика и дутариста. Они раньше встречались на музыкальных состязаниях, что проходили в годы перемирия на земле адайцев, ближайших соседей туркменов. Что-то такое толковал Анадурды караульным, те отвечали ему, но пленник не слушал их и потому ничего не понимал. Но наконец до его сознания дошло, что ему велют встать и куда-то идти из тюрьмы, вместе со стражей и стариком Анадурды. Так он вскоре оказался в тёмно-серой просторной юрте воителя Жонеута. Там стояла такая тишина, что пленник, войдя, подумал о совсем пустой юрте, куда привели его непонятно зачем. Но, приглядевшись, он увидел, что в доме находятся люди, много аксакалов, и все сидят, не произнося ни слова, обернувшись в сторону почётного тора, где возвышался неподвижный, словно каменное изваяние, седой как лунь старик с нестриженной бородой, которая у него свисала только с худых щёк и потому разваливалась на две стороны. И пленника охватил трепет, он понял, что это и есть отец убитого Даулета, сам батыр Жонеут, в чьих руках была тонкая, слабая нить его судьбы.

VI

За все сорок дней воитель Жонеут не был оставлен без внимания людей, с ним рядом всегда находился кто-нибудь, но сам батыр, казалось, никого не видел и не воспринимал, не произнёс ни слова, не ответил никому. А сегодня он словно очнулся от глубокого сна и впервые внимательно осмотрелся вокруг себя. Тяжёл был взгляд поседевшего до ослепительной белизны воителя. И когда пленника ввели и поставили перед воителем, он изумлённо уставился на него. Перед батыром Жонеутом находилось жалкое существо, мало походившее на живого человека: отощавший, бледный, похожий на свою собственную тень пленник в кандалах, в грязной оборванной одежде вызывал в душе старого воителя чувство омерзения. Длиннорукий, к тому же сутулый, пленный казах утомлённо горбился, остановившись у входа, свесив свои руки почти до колен. Он даже не стал озираться, осматриваться вокруг себя, а как только вошёл, так сразу же и усталился припухшими узкими глазами на противоположную стену, словно здесь его ничто не интересовало. Можно было предположить, что он настолько бесстрашен и горделив – собственная участь его вовсе не беспокоит, окружающие люди, во все глаза уставившиеся на него, безразличны ему... Однако, взглянув внимательнее на него, всякий от казался бы подозревать его в гордыне. Видно было, что человек до крайности измождён и едва держится на ногах.

Ему велено было выйти вперёд, поближе к тору, но словам он не внял, тогда один из белобородых встал с места и, ухватив пленника за скованные кандалами руки, вывел на середину юрты. Пленный казах едва волочил ноги. Белобородый снял с него наручники, сам затем отступил назад. Безучастный, равнодушный ко всему, пленник остался стоять на месте.

Жонеут гневным, яростным взглядом обвёл ряды поярковых папах вокруг себя. Это что же? Вы за моего убитого сына предлагаете такую плату? – выражал его испепеляющий взгляд. За моего сына – эту полудохлую клячу? И лохматые папахи все разом виновато склонились перед ним. Лишь одна шапка не

склонилась – и воитель остановил грозные очи на старом Анадурды. Тот молча поднялся и крадучись вышел из юрты. И Жонеут вновь вернул своё внимание к жалкому пленнику. Он продолжал стоять, безучастно уставясь на деревянную решётку юрты. Уж не полудурок ли, подобный манкуртам, оказался перед нами? – Жонеут готов был убить его взглядом. На лице этого полудурка ни чувства страха, ни признаков мужской, воинской, гордости. Торчит как столб, свесив прямые длинные руки, не шелохнётся даже, и только ходит на тонкой шее вверх-вниз огромный, острый кадык.

Вновь появился в юрте старик Анадурды. Подошёл к пленнику и протянул ему что-то продолговатое, завернутое в серую тряпку. Тот, не вняв, долго не понимал, чего хотят от него. Потом, опустив глаза, всмотрелся в продолговатый предмет – и вдруг бескровное лицо его пошло неровными пятнами румянца. Вмиг стёрлось с этого лица выражение тупого равнодушия. Ему, видимо, хотелось что-то сказать, но язык не слушался, губы запрыгали, и только выпуклый кадык его дёрнулся ещё раз и ещё... С трудом он протянул руки и с робким видом принял то, что предлагали ему. Взяв этот длинный свёрток, пленник сразу же резко присел, словно у него подломились ноги. И только теперь, вывернув свою маленькую, усохшую голову, он снизу вверх посмотрел на окружающих вполне осмысленным взглядом. Радость вспыхнула в его глазах. Трясущимися, непослушными руками развернул серую тряпку – на коленях его лежала домбра. Это была его старая домбра, выложенная по деке узорчатой инкрустацией. Он молча разглядывал инструмент, держа его в руках, потом стал осторожно подкручивать колки. Все присутствующие в юрте смотрели на него, затаив дыхание. Анадурды осторожно прошёл на своё прежнее место и сел. Двое бородатых караульных, пришедшие с пленником, тоже опустили на корточки у порога юрты. В наступившей тишине слышно было, как за стеной громко переговариваются джигиты, резавшие жертвенного коня, и как рычат собаки, прибежавшие на запах крови. Сквозь откинутый верх юрты падали потоки лучей неяркого осеннего солнца, и за сиянием этих лучей, косо прорезавших полутьму, скрылось лицо Жонеута, лишь видны были его широкие плечи и могучий прямой стан, каменно застывший на почётном месте. А самому пленнику не было никакого дела до окружающих, забыл он и про самого воителя Жонеута, зловеще нависшего над ним. Не давалась домбра, отвыкли от неё натёртые кандалами руки, опухшие пальцы неуклюже перебирали по грифу, плохо слушались, спотыкались на каждом ладу. Сама домбра рассохлась, не звучала, колки расслабились, не держали струн, их никак не удавалось настроить. Да и как хорошо звучать домбре, если сорок два дня назад она тоже попала в плен вместе с хозяином и с тех пор была разлучена с ним? Тогда он выехал из Кок-Баура, желая поохотиться на архаров, и уже недалеко от предгорья был настигнут ватагой туркменских наездников. Они боевито воскликнули на всю степь, словно победили целую орду, а не одного человека захватили в плен. Он же спокойно стоял на месте, никуда не убегая, ружьё висело за спиной. Никому ничего плохого он не сделал, выехал в степь поохотиться. Но среди тех, кто был в этой ватаге, находились туркмены, которые сопровождали Даулета к адайцам и видели пленника во время их знаменитого состязания. Они-то и кричали громче всех, обращаясь к главарю. Особенно выделялся некто горбоносый, с пеной у рта доказывавший что-то, указывая на домбру. И вот двое подъехали к нему, забрали фитильное ружьё и домбру. И тогда в его душу впервые закрался страх. И он подумал, что больше уже никогда не увидит свою домбру, не поведаёт ей свою душу... А теперь, выходит, он всё-таки вновь увидел её, держал в руках. И это, наверное, в последний раз.

Тяжёлым взглядом, не мигая, смотрел поседевший Жонеут на приведённого в его дом жалкого узника. Тот поднял на воителя ответный взгляд – и тут же

опустил глаза, свесив голову к самой домбре, и надолго замер. Так замирает кормящая мать, любясь на младенца у своей груди.

Жонеут следил за каждым его движением, как голодный хищник следит за жертвой. Неужели он ещё и играть задумал? Нет, не может быть. Вон, руки у него после кандалов стали корявыми, как кривые ветки саксаула... Просто ощупывает, гладит, рассматривает свою высохшую деревяшку, рад, что заполучил её, – дрожит от радости – ничего не замечает вокруг. И такую ничтожную тварь, такого полоумного мозгляка захватили в плен мои батыры взамен убитого Даулетжана! Разве человек в здравом уме выйдет один в степь, где свирепствует беспощадная война мести? Чтобы такого захватить – не много доблести надо. И мне предлагаю его жизнь взамен убитого сына. Этого ублюдка вместо Даулета. Этого поражённого паршой – вон, струнья выползли из-под шапочки, накрывающей его макушку, этого паршивца взамен красавца-батыра Даулетжана.

Старый воитель резко отвернулся от сидевшего перед ним пленника и обвёл тёмными, сверкающими глазами своё окружение. И, не выдерживая его взгляда, аксакалы, почтенные люди и известные в своих родах воины невольно опускали головы. А между тем пленный музыкант все тренькал-бренькал на домбре, настраивая её. Продолжалось это уже довольно долго. А он всё налаживал струны, то подкручивая колки, то отпуская, и, свернув в сторону голову, прислушивался к звуку. У туркменов, терпеливо сидевших на коврах, от жары под их папахами на голове выступил пот, струйками пополз по лбу и по вискам. Люди молчали, томилась и поглядывали на Жонеута. А тот так же молчал, как и все в доме, и в этом молчании было что-то зловещее. А домбра в руках музыканта постепенно оживала, звук её становился всё более глубоким, певучим, звонким. И наконец пролилась первая струйка мелодии, ещё короткая и сумбурная, слабенькая – но это была уже музыка. Затем последовало ещё какое-то время настроя и усиления музыки – и вот наконец полилась она широко, вольно. Обо всём она сразу же заговорила ясным голосом – о боли душевной, о тоске и обиде, о потерях и безвозвратности счастья, любви... Обо всём, чем до края наполнена чаша жизни каждого узника, дни и ночи которого проходят в беспредельном одиночестве... Всё это лавиной звуков обрушилось на ошеломлённых слушателей.

Громадный старик с суровым лицом, с белоснежной раздвоенной бородой, свисающей с его изборождённых морщинами щёк, уставился на домбриста пронзительными, горящими глазами. Много дней пробыл он в этой безмолвной, как могила, юрте, словно заживо похороненный, наедине со своим огромным, испепеляющим душу горем. Хотя рядом постоянно были люди, его многочисленные приспешники, аксакалы и гости издалека, Жонеут словно не видел их, сидел на своём месте и молчал. Вы же знаете, что человек воистину остаётся наедине со своим горем – если это горе беспредельно. Такое горе неразделимо. Этот человек одинок и в окружении людей... А теперь, словно пробудившись от звуков музыки, столь близко подобравшейся к его оцепеневшей за сорок дней и ночей душе, воитель Жонеут выпрямился и по-новому оглядел круг своих соплеменников. Он хотел показать им, что теперь твёрд и силён, что то была великая боль души, её болезнь, – когда он не хотел верить сообщению о смерти Даулета, даже велел не снимать ещё на неделю караула с вершины дозорного холма, и эта душевная болезнь прошла. И он снова спокоен и хладнокровен, готов собирать войско и вести его в поход.

Да, Жонеут крепится, хмурится, не хочет больше показывать своей слабости. Ему представляется, что народ ждёт, когда же он встряхнётся, наконец, и воодушевит всех, бросит клич седлать боевых коней, идти в набег, чтобы достойным образом отомстить врагам.

А музыкант-кюйши между тем решил высказать голосом своей ожившей домбры всё своё дикое страдание и боль, что испытал он в неволе, излить в

музыке гнев и обиду невинно замученного человека. Однако, что значит всё это для дремучего, яростного, кровожадного воителя, – вдруг пришло на ум кюйши. И ему стала ясной безнадежность его попытки. Кому жаловаться? Зачем? Ведь седой батыр выслушает кюй и потом только усмехнется да презрительно скривит губы. А после прикажет своим псам-приспешникам искромсать его саблями на мелкие кусочки. Нет, лучше не продолжать этот кюй. Музыкант резко прихлопнул средним пальцем по струне и перестал играть. Домбра печально вздохнула и смолкла. А потом начала совсем другую мелодию – не вызывающую, гневную и дерзкую, как та, которая только что звучала, а тихую, глухо рокочущую, исполненную печали. Его искорёженные от наручников пальцы, ставшие похожими на корявые ветки саксаула, словно обрели новую жизнь и легко запорхали по грифу домбры, изящно ударили по струнам. Пленный музыкант начал новый кюй, тот самый, что пришёл к нему в ужасные дни и ночи заточения, когда он был скован железом и в руках не было никакой домбры. Тогда он этими скованными руками невольно, бессознательно шарил в темноте перед собою, ища инструмент. И вот теперь домбра с ним, и впервые звучит сочинённая по памяти, рождённая во тьме застенка музыка.... Он сел чуть посвободнее, отвёл руки с инструментом немного в сторону, лицо его стало отрешённым, но в узких сощуренных глазах замерцал глубинный огонь. Это произошло, и вот между кюйши и его музыкой не осталось никого. Исчезли эти полудикие люди в огромных шапках, исчез громадный седой старик с тяжёлыми тёмными глазами. Лишь звучала в тишине музыка, которая исходила, казалось, не от старой домбры, а влетала в дом снаружи, от отдалённых небес, преодолев всю широкую, тёплую, живую степь.

Старый Жонеут даже не заметил, как он оказался весь во власти глухо рокочущей музыки, на его глазах создаваемой жалким пленником, похожим на больного птенца ястреба-кобчика. Воитель вначале хотел противиться этому, старался сохранить на лице суровое, жёсткое выражение, плотнее сдвигал к переносице свои тяжёлые, косматые брови. Но, словно захваченный могучим волшебством, вдруг замер неподвижно и смотрел, не мигая, как порхают над кузовком-декой домбры пальцы музыканта. Истинно вам говорю: печальная мелодия наполнила дом, и всё в нём стало как зыбкое сновидение. Волшебство музыки покорило на миг и жестокий мир, и беспощадное время – эти воинственные кочевники в папахах, сидящие рядами вокруг своего вождя, и седой воитель, и сам измождённый неволей музыкант в кандалах стали прозрачными и едва различимыми в зыбких струях музыки, – так миражи, возникающие над волнами пустынного марева, на какое-то мгновение становятся убедительнее подлинного мира и словно растворяют его в своих несуществующих просторах.

Зазвучал новый кюй, мелодия была вначале спокойной, в ней слышались глубокие размышления, умная рассудочность. Много лет своей жизни он хотел сыграть этот кюй, который так и просился вылететь из самых глубин его сердца, – но музыкант сдерживал себя и не давал выхода своему творению. Он видел, как зло и жестокость явно торжествуют в жизни, а нежность музыки может только оплакивать порабощённое добро. И вот, только оказавшись в туркменском плену, сидя в вонючей лачуге-тюрьме и закованный по рукам и ногам в железо, мастер наконец-то ясно понял, что музыка всё равно сильнее всякого человеческого зла. И однажды глухой ночью до наваждения явственно услышал своё несыгранное сочинение. Сколько раз там, в заточении зиндана, ему хотелось немедленно схватить домбру и сыграть этот последний в своей жизни кюй. Но лишь бряцание цепей обретали его протянутые за инструментом руки... А сейчас, держа свой старый инструмент в руках, он мог наконец высказать то,

что столь долгое время носил в своём сердце. Высказать самое сокровенное всем этим старым людям, наверняка потерявшим в войнах, набегах, разбоях и междоусобицах любимых детей, опору и надежду своей старости. Дать утешение этому могучему седому воителю, лишившемуся последнего сына. О, кюйши в ту минуту почувствовал, что он могуч – может пробудить сердца, смягчить бойцовскую свирепость степных хищников и открыть этим воинственным, жестоким людям их собственную душу, полную нежной человечности. И всё это благодаря тому, что у него снова в руках домбра...

Сегодня, когда его ввели в юрту Жонеута, пленник увидел висевший на решётке-кереге дутар. То был туркменский инструмент, родной брат казахской домбры, – и музыканта словно бросило в жар, ему стало невыносимо при мысли, что уже никогда не возьмёт в руки свою старую домбру... И вот чудо! Он получил её и теперь играет на ней тот кюй, который так мучил его в тюрьме, приходя к нему по ночам, не давая ему уснуть и столь явственно звуча в его ушах – при мёртвой тишине темницы.

Поначалу он долго ничего не мог сыграть не только потому, что домбра рассохлась и отвыкли руки, опухшие от кандалов. Нет, он не мог сразу справиться с радостным волнением, закружилась голова, ослабели ноги, не слушались дрожащие руки. Так мать-верблюдица, на несколько дней разлучённая со своим верблюжонком, при последующей встрече никак не может дать ему молока, от возбуждения у неё закрываются все млечные створы... Теперь он играет кюй – песнь о сладкой жизни на этой земле, столь прекрасной своими дивными просторами. И зачем им воевать, убивать друг друга, двум народам-братьям, когда так хорошо, так сладко проживать в радостных трудах длинных дней череду, ведущую к мудрой старости, растить детей, видеть их благополучие.

Жонеут на какое-то мгновение отвёл глаза от игравшего музыканта – и вдруг увидел своих людей совершенно преображёнными. Ещё совсем недавно они ловили каждую перемену в выражении его лица, не отводили глаз от него. Теперь же все смотрели только на узника с домброй в руках. Привычные к жёсткому, настороженному прищурю глаза степняков из-под лохматых папах излучали сейчас необычный мягкий свет. Нет, это были не туркмены, это были вовсе другие люди! Где в их облике грозная воинственность, где свирепость извечных степных боевиков? Ничего этого не оставалось на их лицах, омытых чистой музыкой. Одни высокие папахи продолжали воинственно торчать на их головах. Показалось Жонеуту, что все его приспешники, подручники и соратники совершенно позабыли о нём и были зачарованы этим тощим, невзрачным, замызганным пленником-музыкантом. Разгневавшись, Жонеут метнул в одну сторону, в другую молнии своего самого грозного взгляда, но это почему-то не подействовало. Никто даже не оглянулся на него. И тогда Жонеут вспомнил слова покойного брата Кекборе. Он говорил, что все эти кюйши-бахши-дутаристы слуги нечистой силы, и сам шайтан им помогает – иначе как бы они могли околдовать и заставить часами слушать себя целую толпу народа? Да, так говорил Кекборе, и его старший брат теперь сам воочию убедился в его правоте. Воитель должен был признать, что этот полудохлый кюйши в одиночку победил всех его джигитов, сподвижников и соратников. Такого воитель Жонеут не мог спустить музыканту. Он взял верх и над его, батыра Жонеута, воинской силой!

О, вы все знаете этот последний кюй пленника-музыканта. Он о том, что люди напрасно копят небо, если живут только для того, чтобы убивать друг друга. Чего им не хватает на этой божьей земле, под этим божьим небом? Не умеют они довольствоваться тем, что им дано, не умеют жить только необходимым для жизни – и это беда, ибо от зависти всегда будет черно у них на душе.

И пока алчность их ненасытна, тесно им будет в родном доме, тесно в просторных степях родной земли. А кости и черепа их воинственных предков никогда не будут надёжным щитом, охраняющим и заслоняющим пределы родины от врагов. Человек не должен видеть в другом человеке врага. И тогда врагов у него не будет. Чтобы стать человеком, надо познать страдание. Если ты никогда никого не пожалел – кто пожалеет тебя самого в час скорби твоей и горькой утраты? Никто. Никто. Ты останешься один. Если ты с мечом отправишься на врага и тебя убьют, ты будешь уже вечно один – под землёй – и никто не будет виноват в этом, только ты сам. И не проклиная Бога на небе, а врага на земле. Самого себя прокляни. И не бурли, не разливайся, как кипяток из котла, не старайся никому мстить за юдоль свою на земле. Лучше смиришь, склони свою голову пониже, а не задирай её гордо вверх. Усмири себя самого – и только тогда ты человек. Победи себя самого – и тогда ты человек. А если ты стараешься вонзить зубы в другого, запустить копи во врага, то чем ты отличаешься от четвероного зверя? А лютый зверь да не ждёт жалости от людей. Если ты будешь убит, то не надейся, что тебя будут оплакивать, – зверя люди не оплакивают. И ты будешь – причина своей смерти, причина причин своей смерти. Ты один будешь виноват в ней. И ни Бог, ни враги земные здесь не при чём. Вы, в папах огромных, воинственных – вы хоть понимаете, о чём я говорю? Или вы слушаете меня, чтобы отвлечься от лютой земной скуки? Но если вам приятны звуки моей музыки, то, может, и мысли мои дойдут до ваших голов, упрятанных под папаху воинственные? Но, укрощённые – кроткие сегодня, на этот час, – завтра вы снова отправитесь на разбой? Скорее всего, так, скорее всего отправитесь на разбой, и это печально. Нет, вы не сможете стать людьми! Нет, человеческое вам чуждо – только горе и несчастье, беда и страдание приближает вас к человеку, подвигает к человечности. В горе вы похожи на человек. А во всём остальном вы звери. И, как звери, вы рыщете по свету, ищете себе добычу...

Когда закончился кюй, слёзы были на глазах у невзрачного человека, жалкого пленника с домброй. Неотрывно следивший за ним Жонеут вдруг мрачно усмехнулся. Он решил, что казах своей игрой на домбре пытается разжалобить его, вымолить пощаду. Музыкант поднял свои глаза на воителя – и теперь не отвёл их в сторону. Пытливо, изучающе смотрел он на седого, могучего воина, и не было во взгляде обречённого пленника ни мольбы, ни страха, ни укора, ни гнева. Уже вполне освоившиеся пальцы его легко порхали над струнами, и сам музыкант казался уже вполне пришедшим в себя исправным человеком.

На последних минутах холодком потянуло от его скорбной музыки, как в предсмертном прощании. Мелодия тянулась ровно, но постепенно слабела. И только в одном месте вновь взвилась, порывисто дрогнула, – словно капнула за всё это время одна-единственная, горячая, как огонь, слезинка...

Однажды Жонеут, накануне похода сына на адайцев, застал Даулета в юрте, играющим на дутаре, и от той мелодии, что он играл, тоже веяло холодком, безысходностью и предсмертной тоской. Но суровый батыр тогда не понял этого, ему лишь показалось, что у него отчего-то вдруг заныли, заломили все косточки... О чём они так тоскуют, эти кюйши, дутаристы, бахши? О чём вечно горюют? Что они хотят сказать нам со слезами на глазах? Об этом думал Жонеут, внимательно глядя на пленника-музыканта. И тот, не мигая, смотрит ему прямо в лицо. Сказано уже было, что ни робости, ни страха не содержалось в его взгляде. Кажется, он хотел предугадать каждое движение души старого воина. Но смог заметить всего лишь, как дрогнуло его суровое, покрытое морщинами лицо и дёрнулась щека, пересечённая глубокой складкой. Старый Жонеут первым отвёл свой взгляд и, стараясь казаться равнодушным, уставился

на верхнюю перекладину дверного проёма. Но его глаза не могли скрыть глубокой скорби, великой боли. И в них вдруг вспыхнул огонь нарастающего гнева. Казалось, что в это мгновение он пришёл к какому-то непреклонному решению, и хотя на лице его по-прежнему сохранялась печаль, в глазах появилось пугающее ожесточение. Пленнику показалось, что воитель старается растравить себя злобой, вызвать в душе жестокость. Но по-настоящему жестокий человек не может быть с таким печальным лицом... Пленный музыкант снова коснулся пальцами струн, и зазвучали тихие звуки нового кюя. Лилась мелодия, исполненная нежной грусти и мягкого, утешительного покоя. Музыка ласкала, исподволь обволакивала раненное горем сердце волнами каких-то сладостных чувств. И мгновенно, неудержимо одолели душу старого воина воспоминания светлых дней, и как живые предстали перед его внутренним взором чистые, юные сыновья. Дрожь прошла по всему телу Жонеута, он весь сник, будто надломилось в нём что-то, из глаз хлынули слёзы.

О, куда делись твёрдость твоя и суровая, непреклонная воля? Старый воитель! Тебя околдовала музыка, воистину таится в ней сила шайтана! Сорок дней и ночей после гибели младшего сына он просидел в траурном молчании, и слёзы не приходили к нему. А что теперь произошло? Эта деревянная вещица с чёрным круглым кузовком на длинной палке – домбра, как ты смогла такое сотворить с человеком! И этот истощённый, с бледным, серым лицом пленник – как он мог вызвать в его сердце такую боль по невозвратному?..

Однажды старый воитель, пребывавший в трауре, невзначай бросил взгляд на ту сторону круглой стены, где висел на деревянной решётке остова юрты дутар погибшего Даулета. Рядом же с инструментом висели его кинжал и копьё. И от старших сыновей, по смерти их, оставались висеть на стене копьё и шашки. Клыч, самый старший... Алпан – средненький. Теперь все они мертвы, погибли в набегах, и только оружие их хранится на память в отцовском доме.

В тот день, когда Даулет сел на своего первого серо-пегого боевого коня и аксакалы благословили его на подвиг, Жонеут собственноручно поднёс ему это копьё. А теперь – зачем оно висит здесь? Что принесло ему это оружие, какую славу, какую удачу? И другим погибшим на чужбине сыновьям, – какую славную долю, кроме ранней смерти, принесло оно им? О, Даулетжан, самый младший, последняя отцовская надежда!.. И тебя уже нет... В слепой ярости вскочил с места Жонеут и, сорвав со стены кинжал и копьё Даулета, двумя ударами о железную треногу очага разнёс их на куски. Но осиротевший дутар старик не тронул... И с этого дня в душе его словно выгорело всё: и печаль, и человеческая тоска – остались лишь гнев, чёрная ненависть да беспредельная жажда мести. Он стал как истекающий кровью раненый зверь – такого лишь тронь, набросится с лютой яростью, кто бы ни был перед ним. Но даже раненого зверя можно усмирить заботой и лаской, а обуянного гневом и ненавистью человека чем можно успокоить?

Лилась дальше мелодия, широкая и раздольная – теперь она была равноударна и стремительна, как бег вольного иноходца. Казалось, музыка захватила самого музыканта и унесла его в другую жизнь, и кюйши преобразился на глазах у своих слушателей и мучителей. Он мог только мечтать о такой минуте: сейчас он сможет высказать всё, что смертным грузом лежит у него на сердце. Высказать без гневного крика, без унижительного плача, без страха и упрёка, а негромким, спокойным, мягким, доступным для души каждого из этих воинственных мужчин в лохматых папах языком музыки. Все они сидят, слушают, потупив взоры, не шелохнувшись, не издавая никаких возгласов. И с улицы, за стеною юрты, тоже всё стихло, и не доносится оттуда никакого шума. А седобородые аксакалы низко склонили свои головы на грудь, и могло по-

казаться, что старые люди просто устали и дремлют, и музыка здесь ни при чём. Но кюйши видел, что все до одного, сидевшие в юрте, захвачены его кюем. Даже двое здоровенных бородатых охранников, сидевших у двери, опираясь на рукоять камчи, слушали своего подконвойного с задумчивым видом, слегка пригорюнившись. А справа от почётного места сидели, кучкуясь отдельно, те самые воины-сарбазы, что живыми вернулись из последнего похода. Никто из них не смотрел сейчас ни на предводителя Жонеута, ни на самого кюйши. Каждый из них думал о чём-то своём, затаённом и сокровенном, слушая тихую музыку. Может быть, она напомнила им ту колыбельную, которую пела им мать в пору их младенчества. А может быть, они вспоминали про то, как, стараясь сдерживать рыдания и глотая слёзы, провожали их юные жёны в далёкий, полный опасностей поход, откуда не всякому суждено вернуться... Когда джигиты, обвешанные оружием, тяжкой поступью направлялись к своим скакунам, они замечали краем глаза, как, выглядывая из-за юрты, плачет-заливается жена, не решаясь выскочить из своей засады, броситься к мужу, вцепиться в стремя, чтобы удержать его дома, возле перепуганных, встревоженных, таращивших глазёнки детишек... Вопила в голос престарелая несчастная мать, уже столько своих сыновей проводившая вот так – и безвозвратно... Сами джигиты изо всех сил крепились, но тоже были близки к тому, чтобы заплакать, разрыдаться в голос. И они спешили скорее преодолеть короткий, но столь тяжкий путь до коновязи, где грыз удила, бил копытом землю нетерпеливый боевой аргамак. Вскочив на него, джигит зачем-то стегал и без того нетерпеливо рвавшегося вперёд коня – и в туче пыли уносился прочь. А в груди так болело сердце, словно его грызли и колтили злые собаки. Тогда степной боевик, чтобы победить свою минутную слабость, старался в этом сердце пробудить ненависть к врагу. Напомнить себе, что он должен ему отомстить. И захочется степному воину скорее настичь этого врага и одолеть его, изрубить на куски, стереть с лица земли. Представляет себе сарбаз, как ненавистный враг обрушивается наземь вместе с конём, снесённый могучим ударом, и тёмная кровь его бурлит, вытекая из раны. И от этой картины, удовлетворённая, успокаивается душа. И радость нарастает в этой душе, словно он уже и на самом деле догнал врага, победил его в бою, пронзив копьём...

Но разве не бывало и такого, сарбаз, когда от твоего удара и на самом деле вылетал с седла и падал на землю, под ноги коней, какой-нибудь совсем молоденький вражеский воин, только что стремившийся в сражение, размахивая над головою пикой... В пылу боя, в завихрении конских и человеческих тел, усердно работающих на дело смерти, ты лишь мельком глянул в лицо поверженного, пролетая мимо на своём озверевшем скакуне. Но потом, находясь где-нибудь на покое, наедине с собою, ты вдруг вспоминал это ещё совсем мальчишеское безусое лицо побеждённого врага – и тебе бывало худо. Ты становился противен самому себе. Ты чувствовал себя убийцей. Но ты крепился, старался никому не показывать своей слабости. Вызывал в себе ожесточение и победное торжество от совершённой мести... Однако это было не истинно. Истинно же было то, что ты убийца. И нечего обманывать самого себя. И теперь эта домбра, этот тихий задушевный кюй словно раскрыли души воинов для правды и истины. Нет, не сможет солгать домбра.

Кюйши продолжал играть, вновь переведя взгляд на Жонеута, смотрел на него неподвижным, загадочным взглядом. Словно шаман, заклинаящий змею. Казалось, музыка смогла добраться до самого сокровенного в сердце человека, затронула все его потаённые отзывчивые струны. Но кюй продолжался, и уже зазвучало в музыке что-то такое скорбное, настойчивое, непонятно-власт-

ное, что поразила она всех слушателей и заставила их поднять глаза и внимательно посмотреть на кюйши. Нет, он не просил пощады. Не пал до унижения перед теми, кто его мучил. Он просто играл на домбре, а они слушали, и у них разрывались сердца, и слёзы набегали на глаза. То же, что и с другими, происходило со старым Жонеутом. С великим изумлением он смотрел на измождённого, невзрачного кюйши: откуда тому стала известной та мелодия, которую играл Даулетжан накануне своего рокового похода? Кто они, эти кюйши, домбристы? Непонятная колдовская сила заключена в них, и покойный Кекборе недаром так ненавидел всех этих бахши, дутаристов. Он терпеть не мог музыки и женских слёз, этот громогласный, горячий батыр, и когда где-нибудь наткнулся на веселье с музыкой или попадал в дом, в котором плакали бабы, он сначала пытался разогнать всех музыкантов и утихомирить окриком женщин. Но если этого не удавалось, тут же разворачивал коня и уносился прочь. Жонеут тоже был всю жизнь суров, музыки не слушал, веселья не признавал. Когда случилась страшная беда и он потерял последнего, самого любимого сына, старый воин едва не обезумел от горя, но твёрдости духа не утратил и за сорок дней и ночей не обронил ни слезинки. А тут, слушая этого грязного, паршивого кюйши, залился слезами на глазах у своих людей. Да и сами-то они, посмотреть на них – что сделал с ними этот игрок на домбре? Сидят расслабленные, словно пришибленные, и у многих сарбазов также слёзы на глазах... Нет! Этого нельзя допускать... Незачем выставлять друг перед другом свою слабость. Нет. Не надо поддаваться наваждению этого казаха-кюйши. И если в самый чёрный час ты не потерял самообладания, то крепись и теперь, Жонеут!

В той стороне юрты, где громоздилась утварь домашняя и всякая рухлядь, между двумя верхними жердями обрешётки натянута верёвочка, на которую раньше было нанизано сорок тонких пресных лепёшек. Их подвесили в день гибели младшего сына воителя. Каждый день приходил Дегене-ахун, снимал после вечернего намаза одну лепёшку и, разломив на мелкие кусочки, раздавал гостям. Сегодня на этой верёвочке оставалась одна, последняя лепёшка. Вечером уже и её не будет там. И так же, как исчезли эти сорок лепёшек, постепенно со временем исчезнет и память о джигите-красавце Даулетжане...

Кюй наконец завершился. Настала тишина в юрте. Уронил домбру на колени и устало сник пленник-кюйши. Гордый, старый батыр отёр руками глаза, лицо. И седые усы, и раздвоенная борода, растущая у него вниз от впалых щёк, были мокрыми от слёз. Перед ним сидел пленник, словно ястребок-кобчик, нахохлившись, лоб его был весь в поту, которого он и не вытирал. Глядя прямо перед собою немигающими узкими глазами, кюйши молча ждал своей участи. Видно было, как он устал. Глаза его то и дело закрывались, и он как будто с большим усилием открывал их снова. Туркмены, сидевшие вокруг него, зашевелились, словно с трудом приходя в себя от наваждения музыкой.

Старый воитель, предводитель рода, одинокий батыр, у которого уже не было ни одного сына, – Жонеут сидел на своём месте и неподвижными, упорными, тёмными глазами вглядывался в пленника. Потом отвёл от него взгляд и оглянулся на аксакалов. Те зашевелились, закачали папахами. Жонеут резко, решительно выпрямился и подал рукою знак двоим стражникам, которые привели из темницы сюда казаха-узника. Бородатые стражники мигом поднялись на ноги, с усердным видом подскочили к пленнику и снова надели на него кандалы. Поддерживая с двух сторон, поволокли к выходу. Народ в юрте, затаив дыхание, ждал приговора своего предводителя. Но он молчал. Лицо его было каменно-непроницаемым.

VII

Священная гора оказалась равнодушной к горю Жонеута. Изрытая дождевыми оврагами, одряхлевшая от времени, с едва заметной могилой святого на вершине, гора встретила старого воина молчанием. Так ничего ему и не ответила на все его моления и жалобы. Только чёрный высокий обелиск, неподвластный времени, словно внушал ему, что надо оставаться стойким, как всегда, не терять уверенности и желания жить дальше.

Жонеут поехал назад со смутной душой. Конь с большим трудом спускался с горы по раскисшему от дождя склону. Ноги жеребца разъезжались по сырой глине, и он вскоре сам выбрал удобный спуск, перешёл на узкую песчаную тропку, белевшую рядом с торной дорогой. С высоты ещё раз оглядел батыр морские дали, каменистый берег. Сквозь скупой реденький дождик море выглядело тёмным-тёмным-тёмным, хмурым и старчески бессильным, каким чувствовал себя и сам Жонеут. Бросив на него прощальный взгляд, воитель отвернулся и больше не смотрел в его сторону. Он только слышал глухой, усталый рокот волн.

Спустившись с горы, весь мокрый, сидя на мокром седле, Жонеут направил коня по дороге к своему аулу. Отъехав немного, старик всё же не выдержал, остановил лошадь и ещё раз оглянулся на море, на длинный мыс, уходящий в его широкое плоское серое тело, приглаженное дождём, на высокий курган, у вершины которого находилась могила святого Темирбабы. Но уже не видно было ни этой могилы, ни обелиска над ним, – лишь вода, одна холодная вода была вокруг, властвуя там, на море, и заливая всё видимое здесь, на суше. Вдоль дороги с бульканьем бежали потоки ручьёв, таща на себе всякий мелкий мусор пустыни, утонувших жуков, пауков, муравьёв, – неуклонно стекая с высоких мест вниз. Далее, на ровном просторе, уже накапливались на глинистых пустошах широкие тусклые лужи. Всюду, насколько хватало глаз, блестела осенняя серая вода. Старый воитель опустил голову, подставляя её той же воде, но струившейся сверху, с небес. И увидел, что его ноги и брюхо лошади забрызганы жидкой грязью. Напрасной была его поездка на могилу святого. Ничего не ответила ему священная могила. И теперь он возвращался ещё более пустой и поникши душою, чем до этого одинокого печального паломничества...

О, душа его! Она стала как та старая дырявая лачуга-зиндан на окраине аула, в которой раньше держали несчастных манкуртов, потерявших человеческий образ, а потом на сорок дней заточили пленного казаха-күйши. Сейчас там пусто, как в душе Жонеута, тоскливо и холодно, – лишь гуляет по пустым углам темницы холодный ветер-сквозняк.

Он спрашивал там, на могиле святого: неужели отныне мой бесстрашный народ степных воинов навсегда лишился своей силы? Ведь никто больше не жаждет боя, не хочет рыскать волком по чистому полю, ища себе славы и добычи. И боевым копьём, с которым он ходил в набеги, теперь ковыряет в очаге, направляя дрова и сгребая жар в кучу. Выходит, что пропадает мой народ? Но ничего не ответил святой. Ничем не помог. Видать, когда люди вырождаются и мельчают, святые теряют своё могущество.

В унылый, затрёпаный осенними ветрами, с мокрыми камышовыми загонами для скотины родной аул Жонеут вернулся далеко за полдень. Навстречу из юрты выбежал Анадурды, ему и бросил поводья батыр, молча вошёл в дом. И с того дня он больше никуда не выезжал...

